Преданность. Год Обезьяны

Автор:
Патти Смит

Преданность. Год Обезьяны

Патти Смит

Перед вами две книги Патти Смит. В “Преданности” писательница не просто рассказывает, а показывает, что творчество сродни волшебству, вдохновение питается от самых неожиданных источников, а читатель волшебным образом проникается создаваемой в книге атмосфере. “Год Обезьяны” – рассказ о путешествии семидесятилетней писательницы по Америке. Она встречается с прошлым, рассматривает с неожиданных ракурсов настоящее, погружается в воспоминания, размышляет о своей жизни.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Патти Смит

Преданность. Год Обезьяны

Patti Smith

Devotion. Year of the Monkey

Devotion © Patti Smith, 2017

Year of the Monkey © Patti Smith, 2019, 2020

© David Gahr, cover photo

© С. Силакова, перевод на русский язык, 2021

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Издательство CORPUS ®

* * *

Преданность

Посвящается Бетси Лернер – моему другу и проводнику

Вдохновение – величина непредсказуемая, муза, нападающая в неведомый час. Стрелы летят, а ты и не замечаешь, что в тебя попали, что целый сонм разнородных катализаторов сплотился украдкой в самостоятельную систему, перекраивая тебя вибрациями неизлечимой болезни – горячечного воображения, нечестивого и божественного сразу.

Что делать с импульсами, возникающими в результате, с нервными окончаниями, мигающими, как электрифицированная карта вороватых созвездий? Звезды пульсируют. Музе не терпится ожить. Но сознание – тоже муза. Оно старается перехитрить своих блистательных противников, перепаять на свой манер электросхему таких источников вдохновения. Кристальный поток пересыхает. Прекрасное уж не пленяет навсегда – его вываляли в грязи. Почему дух творчества сам с собой в раздоре? Почему создатель ставит все драмы с ног на голову? Перо, направляемое побежденной музой, приподнимается. Когда нет разлада, выводит оно, гармония проходит незамеченной, когда нет разлада,

продолжает оно, Авель предстает всего лишь забытым пастухом.

Как работает сознание

Письменный стол, Нью-Йорк

1

Каким-то образом, разыскивая что-то другое, я наткнулась на трейлер фильма “Risttuules”, название которого перевели на английский как “In the Crosswind” — “Боковой ветер”. Это реквием режиссера Мартти Хельде по тысячам эстонцев, которых весной[1 - Согласно аннотации, в фильме описывается так называемая “Июньская депортация” эстонцев 14 июня 1941 года. Здесь и далее – прим. перев.] 1941 года массово выслали в сибирские колхозы: люди Сталина схватили их, разлучили семьи, загнали людей в товарные вагоны, точно овец. Смерть и изгнание – вот какой новый удел им назначили.

Режиссер создал визуальное стихотворение уникальным методом театрализации: актеры, меняя позы, изображают череду статичных живых картин. Время приостанавливается, но все же бежит, развертывая навеянные этим печальным шествием образы в форме слов. Ужасный дар, признаю я, пока записываю, напряженно пытаюсь занести слова в блокнот. Но, тем не менее, чую, что за этими словами сгущается что-то другое. Иду по мысленной дорожке и набредаю на еловый лес, пруд и небольшой, обшитый досками дом. Вот начало “чего-то другого”, но тогда я этого не знала.

Зимняя зарисовка. Совсем близко – только пройти дорогу из конца в конец. Голубой домашний халатик стал занавеской для окна, в которое уже никто никогда не выглянет. Повсюду кровь, обескровленная – лишена своего кровавого

цвета, и собака лает, и звезды проваливаются сквозь мертвенно-бледное небо.

Умирающий теленок. На копыто наложена шина, на копыте – подтеки, дыры. Наступает ночь, скрывая из виду подергивающуюся ногу последнего живого существа.

Зарисовка про время. Шестеренки, маленькие руки, застывшие во льду. Птицы, которым уже не до любопытства, перестают бить крыльями. Кончен бал, и лицо любви – только широкая юбка и глянцевые каблуки зимы.

Утром просыпаюсь, а в голове все еще мелькают черно-белые диорамы “Risttuules”, исступленный темп оперы человеческих жизней воплощен в статуях, которые склоняют головы и дышат. Потрясенная их выразительностью, даже не могу припомнить, что собиралась найти вначале. Лежу, заново прокручивая перед мысленным взором медленную панораму цепочки изгнанников, бредущей зигзагами сквозь беспощадный шквал белых лепестков. Хризантемы. Да! Их ветки и распроклятый эшелон жизни, пролетающий – так быстро, что расплывается в глазах – мимо. Однако, вернувшись к тому самому отрывку, который посмотрела вчера, не нахожу ни одной похожей сцены. Значит, я ее сама спроецировала в сознание ненароком? Отпихиваю компьютер и объявляю, обращаясь к неровному оштукатуренному потолку, свой вердикт: мы расхищаем, мы перенимаем, а нам и невдомек. Встаю справить нужду. Воображаю снег.

В ушах еще не отзвенел хрупкий голосок Эрмы[2 - У автора опечатка. Согласно аннотации фильма, героиню зовут Эрна.], закадровой рассказчицы из “Risttuules”, а я одеваюсь, прихватываю свой блокнот и “Однажды ночью” Патрика Модиано, иду в кафе напротив. Рабочие разносят улицу отбойными молотками, сквозь стены кафе проникает оглушительная вибрация. Не в силах ничего написать, читаю – блуждаю по паутине повести “Однажды ночью”: неопределенные улицы, обрывки адресов, давно не актуальные маршруты, события, в сумме дающие хождение по кругу – замкнутому кругу пустоты. Огорчаюсь, что в эти минуты не пишу, но решаю, что забыться в наэлектризованном оцепенении вселенной Модиано – почти как написать что-то самой. Влезаешь в шкуру рассказчика, у которого легкая паранойя и склонность

зацикливаться на мелких подробностях, и окружающее тебя пространство смещается. На середине какой-нибудь фразы моя рука неизбежно, неожиданно для меня, тянется к авторучке.

Добравшись до конца “Однажды ночью” – впрочем, это вовсе не конец, потому что испарения будущего просачиваются за последнюю страницу, – перечитываю начало, а потом переключаюсь на день, ожидающий меня впереди. Я должна вылететь в Париж последним рейсом. Мое французское издательство организовало, заполнив целую неделю, мероприятия по случаю выхода моей книги, в том числе беседы с журналистами о писательском труде. Я даже не прикасаюсь к блокноту. Писательница, которая сейчас ничего не пишет, собирается говорить с журналистами о писательском труде. Воображала-хвост-поджала, отчитываю я себя. Заказываю еще одну чашку черного кофе и порцию голубики. Времени хоть отбавляй, а путешествую я налегке.

Улица превратилась в стройплощадку, и, прежде чем перейти ее и попасть домой, приходится ждать, пока гигантский кран возносит над кафе, на высоту нескольких этажей, стальные балки: припоминается начало “Сладкой жизни”, когда над крышами Рима вертолет несет фигуру Христа в человеческий рост.

Собираю то, что обычно беру в дальнюю дорогу, – сваливаю в кучу рядом со своим маленьким чемоданом, а заодно переслушиваю закадровый текст трейлера. Певучесть незнакомого языка намекает на печальнейшую из мелодий, заполняющую собой все. В то время как солдаты продвигаются вперед, молодая мать развешивает выстиранное белье и прикрывает ладонью глаза от солнца. Ее муж отделяет зерна от плевел, ее дочка упоенно занята игрой. Заинтригованная, я еще немного шарю в интернете и нахожу шестиминутный отрывок из “Risttuules” с подзаголовком “Березовое письмо”. В кадре – открытое окно, образы белизны и берез, возникающие из фраз, произнесенных шепотом, и поезд, и ветер, и пустота.

Разрушая чары, звонит телефон: мой рейс отменили. Надо поспеть на другой, вылетающий пораньше. Резво берусь за дело, вызываю такси, засовываю компьютер в чехол, фотокамеру – в рюкзак, запихиваю все остальное в чемодан. Такси приезжает слишком быстро, а до меня тем временем доходит, что я пока не выбрала книги в дорогу. Перспектива перелета без единой книги ввергает в панику. Правильно выбранная книга может сработать, как хороший проводник, – задать тон всему путешествию или даже изменить его маршрут. В отчаянии прочесываю комнату взглядом – словно ищу в непролазном болоте спасительную

ветку. На каталожном шкафу – небольшая стопка непрочитанного, в том числе монография Франсин дю Плесси Грей о Симоне Вейль и “Родословная” Модиано, с изумленным лицом автора на обложке. Хватаю их, говорю своей маленькой абиссинской кошке: “До свидания” и выезжаю в аэропорт.

К счастью, на въезде в туннель Холланда нет заторов. От сердца отлегает, и я ныряю обратно в голос Эрмы. Воображаю: вот бы написать рассказ, ориентируясь на атмосферу, которую создает резонанс конкретного человеческого голоса. Ее голоса. Не держать в голове никаких фабул, а просто неотступно следовать за ее интонациями, ее тембром и сочинять фразы так, как сочиняют музыку, и накладывать их прозрачными слоями на ее фразы.

И лицо любви – только белизна зимы, закутавшая руки деревьев, тех, что провалились в дыры бесцветных небес.

Торопливо иду по терминалу: на рейс успеваю запросто, но в каком-то смысле сбилась с ритма. Не стоит и надеяться, что в такой ранний час удастся заснуть, – и я уж молчу о том, что к моему приезду номер в гостинице готов не будет, – придется ждать еще несколько часов. И все же устраиваюсь поудобнее, пью минералку и не сопротивляюсь, когда меня затягивает книга об одной отдельно взятой жизни – осколок Симоны Вейль. Книга, выбранная второпях, впоследствии оказалась более чем полезной, а ее героиня – превосходным образцом для самых разных, не перечесть, мировоззрений. Одаренная девочка из привилегированной семьи, она с легкостью вошла в величественные дворцы высшего образования, но от всего отказалась, чтобы пойти тернистым путем революции, откровений, служения обществу и самопожертвования. Я никогда не уделяла ей время, не занималась изучением ее фигуры, но теперь непременно уделю. Закрыв глаза, явственно вижу вершину ледника и соскальзываю в сокровенный горячий источник, окруженный стенами непроницаемого льда.

Церковь Сен-Жермен?де-Пре

Прохожу таможню и, позевывая, выхожу из терминала в парижском аэропорту Орли. Меня ждет мой друг Ален. Заселяюсь в отель на узкой улочке буквально в нескольких шагах от церкви Сен-Жермен-де-Пре. Пока готовят номер, пьем кофе с багетами в кафе “Флор”.

Распрощавшись с другом, захожу в примыкающий к церкви маленький парк, где у ворот стоит бюст Аполлинера работы Пикассо. Присаживаюсь на ту же скамейку, где мы с сестрой сидели весной 1969-го. Нам было по двадцать с хвостиком: возраст, когда все – в том числе сентиментальная голова поэта – было откровением. Любознательные сестры с целой пригоршней драгоценных адресов – кафе, гостиниц и старинных особняков. “Де Маго” экзистенциалистов. “Отель дез Этранже”, где Рембо и Верлен председательствовали в “Кружке поэтов-зютистов”. “Отель Лозэн” с химерами и позолоченными коридорами, где Бодлер курил гашиш и сочинял начерно стихи, которыми открываются “Цветы зла”. Наше воображение светилось изнутри, когда мы прохаживались взад-вперед перед этими домами, синонимичными поэтам. С нас достаточно было постоять у стен, за которыми они когда-то сочиняли, спорили и погружались в сон.

Внезапно холодает. Обращаю внимание на кусочки хлеба, на назойливых голубей, на томные поцелуи молодой пары, на бездомного с длинной бородой, в теплом пальто, – выпрашивает несколько монет. Наши взгляды скрещиваются, и я встаю и направляюсь к нему. Глаза у него серые, и мне вспоминается отец. Над Парижем как бы разливается серебристый свет. На меня накатывает волна ностальгии, навеянной этим идеальным настоящим. Начинает накрапывать дождь. В воздухе клубятся обрывки зернистой кинопленки. Париж, где Джин Сиберг в полосатой блузке с вырезом лодочкой торгует на улице газетами “Геральд трибьюн”. Париж Эрика Ромера – топчется под дождем на рю де ля Юшетт.

Чуть попозже, уже в отеле, силясь не задремать, открываю наугад биографию Вейль, ненадолго ныряю в сон, потом выбираю совершенно новую главу, и этот процесс каким-то загадочным образом оживляет героиню. Симона Вейль бесцеремонно входит в кадр откуда-то из третьего измерения. Вижу полы ее длинного плаща, ее густые черные волосы, безжалостно обкорнанные, словно у блистательной, независимой невесты Франкенштейна.

И другой портрет Симоны мелькает перед глазами – шарж типа тех, которые Рене Домаль рисовал на путешественников, державших путь к “Горе Аналог”.

Лицо сердечком, вихрастые волосы торчат горизонтально, за круглыми очками в железной оправе – темные глаза, испытующий взгляд. Они были знакомы, он учил Вейль санскриту. Явственно воображаю эту пару туберкулезников: лишь слегка соприкасаясь головами, корпят над древними текстами, и их организмы, подточенные болезнью, жаждут молока.

Рука земного притяжения тащит меня в бездну. Включив телевизор, прыгаю по каналам, ловлю хвост документального фильма о постановке расиновской “Федры”, а потом проваливаюсь в глубокий сон. Спустя несколько часов внезапно открываю глаза. На экране – девушка на льду. Какой-то чемпионат по фигурному катанию. Крепко сложенная блондинка успешно катает свою программу. Следующая девушка прелестна, но неудачно падает, не сумев сгруппироваться. Помню, как смотрела такие соревнования с отцом, сидя у его ног, пока он расчесывал мои спутанные волосы. Он восхищался атлетичными фигуристками, а я – грациозными, которые, по-видимому, включали в свою программу элементы классического балета.

Объявляют последнюю фигуристку, шестнадцатилетнюю русскую, самую юную на соревнованиях. Хоть я и полусонная, но смотрю на нее во все глаза. Молодая девушка ступает на лед так, словно на свете больше ничего не существует. От ее бесхитростной целеустремленности, от сочетания простодушной надменности с неуклюжей грацией и дерзостью перехватывает дух. Ее победа над остальными заставляет меня прослезиться.

Пока я сплю, дух комбинирует, регенерирует. Решительное лицо сердечком – лицо Симоны – сливается с лицом молодой русской фигуристки. Коротко остриженные темные волосы, темные глаза пронзают взглядом небо, которое еще темнее. Взбираюсь на склон вулкана, вырубленного изо льда, черпающего свой жар из колодца преданности, а колодец этот – женское сердце.

Просыпаюсь рано, иду в кафе “Флор”, заказываю яичницу с ветчиной и черный кофе. Яичница идеально кругла и лежит на идеально круглом ломте ветчины. Дивлюсь тому, как проявляется творческий дух – хоть в порции яичницы, хоть на середине катка. За мной заходит Ален, и мы идем в дом 5 на рю Гастон-Галлимар, где с 1929 года находится головной офис издательства. Мой редактор Орельен открывает дверь бывшего кабинета Альбера Камю. Из единственного окна виден сад внизу. В застекленном шкафу выставлены книги Симоны Вейль, изданные посмертно под руководством Камю. “Lettre ? un religieux”, “La

connaissance surnaturelle”, “L’enracinement”[3 - “Письмо клирику”, “Сверхъестественное познание”, “Укоренение” (фр.)].

Сад издательства «Галлимар»

Господин Галлимар приветствует меня в своем кабинете. На каминной доске – часы, который подарил его деду Антуан де Сент-Экзюпери. Спускаемся по истертым ступеням мраморной лестницы, проходим через голубую гостиную и входим в сад, где когда-то позировал фотографу, сидя в белом плетеном кресле, Юкио Мисима. Несколько минут стоим, молча любуясь геометрической простотой сада.

На ум приходят другие сады – похожие на стереопары, размытые подтеками времени. Многовековой Орто-Ботанико в Пизе с забытым памятником Гумбольдту и высоченными чилийскими слоновыми пальмами. Аптекарский огород Болонского университета с дикорастущими лекарствами, где сознание то расширяется, то умиротворяется. Думаю об Йозефе Кнехте: как он бродил один в скромном саду школяров, размышляя о том, какое будущее ждет его в качестве Мастера игры. Сад в летнем доме Шиллера в Йене, где, как рассказывают, Гете посадил дерево гинкго.

– Я был знаком с Жене, – тихо говорит господин Галлимар, глядя вбок, чтобы не показаться нескромным.

Меня манят несколько спиралей, вырезанных на высокой стене справа. Похожи на спираль, которую Бранкузи придумал, чтобы она символизировала Джеймса Джойса, для маленького издания “Сказок, сказанных Шемом и Шоном”[4 - Первое издание трех фрагментарных текстов Джеймса Джойса, которые он позднее включил в “Поминки по Финнегану”. Книга вышла в 1929 году в парижском издательстве “Блэк сан”, оформил ее Константин Бранкузи.] в “Блэк сан”. Медлю: с меня довольно и того, что я немного побуду с призраками писателей, ступавших по этому огороженному клочку земли. Камю, прислонясь к стене, курит сигарету. Набоков размышляет о искривленной раковине наутилуса.

В ту ночь мне приснилось, что я умею плавать. Море было холодное, но я была в пальто. Проснулась я, дрожа от холода, – с вечера оставила окно открытым, чтобы смотреть на церковь. В окно мне открывался вид на церковь – а значит, и на долгую полосу моей жизни. Эту церковь я впервые увидела, когда была тут с сестрой в конце весны 1969-го. Мы вместе, довольно робко, вошли внутрь и поставили свечки за родных.

Встаю закрыть окно. Идет дождь: бесшумный беспрерывный дождь. Внезапно начинаю плакать.

– Отчего ты плачешь? – спрашивает какой-то голос.

– Не знаю, – отвечаю я. – Может быть, от счастья.

Париж – один из тех городов, которые можно читать без карты. Идешь по узкой рю дю Драгон – бывшей улице Сепюлькр, которая когда-то могла похвастаться грозным каменным драконом. На доме 30 – мемориальная доска Виктору Гюго. Рю де л’Абеи. Рю Кристин. Эти улицы – стихотворение, ожидающее, пока его высидит наседка: внезапно наступает Пасха; пасхальные яйца повсюду.

Иду, куда глаза глядят, смотрю – а я в Латинском квартале, спешу на бульвар Сен-Мишель, в поисках дома 37, где выросла Симона и десятки лет жила семья Вейль. Перед глазами возникает Патрик Модиано – как он вычисляет адрес за адресом, бороздит город взад-вперед в поисках некого особенного подъезда. Думаю об Альбере Камю: перед вручением Нобелевской премии он совершил к дому семейства Вейль такое же паломничество, но по более основательным причинам – не из простого любопытства, а в глубокой задумчивости.

Складывается распорядок дня. В семь просыпаюсь. В восемь – кафе “Флор”. До десяти читаю. Иду пешком в “Галлимар”. Журналисты. Подписываю книги. Ланч с командой “Галлимара” – Орельен, Кристелль, конфи из утки с гарниром из фасоли – типичное для местных кафе блюдо. Чай в голубой гостиной, сад за окнами, интервью. Одна журналистка протягивает мне книгу о Симоне Вейль, переведенную на английский. Спрашивает: вы о ней слышали? Позднее журналист по имени Брюно дарит мне портрет Жерара де Нерваля, и я пристраиваю его на тумбочке у кровати. Тот самый меланхоличный портрет,

который я, двадцатилетняя, прикрепила к обоям над своим письменным столом.

Вечером мы с Аленом встречаемся, и за легким ужином он инструктирует меня перед путешествием: утром выезжаем на юг Франции. Намечена презентация книги в Сете – старом средиземноморском курортном городе, где родился поэт Поль Валери. Обрадованная перспективой побывать в новом месте и подышать соленым воздухом, возвращаюсь в номер, укладываю вещи в дорогу – поеду совсем налегке, а потом уговариваю себя заснуть, декламируя собственную мантру: “Симона и Патрик. Патрик и Симона”. Он вселяет взволнованный покой. Она – опасно привычный прилив адреналина. Просыпаюсь раньше обычного, прихожу в “Флор” к самому открытию, беру багет с инжирным джемом и чашку черного кофе. Хлеб еще теплый. По дороге на вокзал еще раз проверяю содержимое рюкзака. Блокнот, Симона, нижнее белье, носки, зубная щетка, сложенная рубашка, фотокамера, моя авторучка и темные очки. Все, что мне требуется. Надеюсь что-нибудь написать, но вместо этого сонно гляжу в окно вагона, отмечая, как меняется пейзаж, когда из парижских предместий с заборами, испещренными граффити, мы выезжаем на более-менее открытые просторы: почва скорее песчаная, вихрастые сосны и, наконец, – зов моря.

Столовые приборы. Кафе «Флор»

В Сете обедаем свежими морепродуктами в местном кафе окнами на гавань. Мы с Аленом взбираемся на холм – идем на кладбище искать Поля Валери. Находим его и отдаем дань его памяти, но меня манит и могила девочки по имени Фанни, обожавшей лошадей. Родные и друзья поставили на ее надгробии лошадок, и получилась маленькая конюшня, которую не тревожат ни ветер, ни вандалы. Меня влечет к надгробию, которое еще старше, замечаю слово “devouement”, высеченное по горизонтали и окаймленное рамкой. Спрашиваю у Алена, что оно значит.

– Преданность, – отвечает он с улыбкой.

На следующее утро, прежде чем воссоединиться с Аленом и Орельеном на вокзале, иду прогуляться напоследок, обнаруживаю уединенный парк, где властвует внушительная статуя Нептуна. Взбираюсь по неровным каменным ступенькам на откос, ведущий к чему-то наподобие ботанического сада: несколько приземистых пальм, разнообразные другие деревья. Пока я там брожу, меня охватывает нежданное, но знакомое ликование, и все абстрактное воспринимается острее, в воздухе моего внутреннего мира происходит рефракция.

Небо бледно-зеленое, атмосфера фонтанирует непрерывным потоком образов. Укрываюсь на скамье, где меня защищает тень деревьев. Стараясь дышать помедленнее, нашариваю в рюкзаке авторучку и блокнот, начинаю строчить – отчасти не по своей воле.

Белая стрекоза, выскочившая из музыкальной шкатулки. Яйцо Фаберже с миниатюрной гильотиной внутри. Пара фигурных коньков, выписывающая вензеля в космосе. Пишу о деревьях, о повторении восьмерок на льду, о магнетическом притяжении любви. Точно не зная, много ли прошло времени, закрываю блокнот, тороплюсь мимо выпуклой спины Нептуна вниз по каменной лестнице – спешу на вокзал, это совсем рядом. Ален смотрит вопросительно. Орельен спрашивает, сфотографировала ли я что-нибудь. Всего один снимок, говорю я, фото одного слова.

В поезде лихорадочно продолжаю писать, чувствуя себя так, словно меня откачали, вытащив из моря памяти. Ален поднимает глаза от книги и смотрит в окно. Время съеживается. Внезапно подъезжаем к Парижу. Орельен спит. Мне приходит в голову, что молодые во сне выглядят красивыми, а старые – взять хоть меня – неживыми.

3

Особенная радость от хорошей погоды, приятное легкомыслие – поддаюсь ему запросто. Захожу в церковь Сен-Жермен, а там поют мальчики. Наверно, сейчас

идет причастие. В воздухе разлит чинный восторг, и меня посещает знакомое желание принять тело Христово, но я не присоединяюсь к прихожанам. Вместо этого ставлю свечку за тех, кого люблю, и за родителей, потерявших детей в “Батаклане”. Пламя свечей подрагивает перед святым Антонием, который держит на руках младенца: оба кажутся живыми оттого, что испещрены накопившимися за десятки лет изящными граффити – оживлены письменными мольбами настоящих живых людей.

Вольтер. Площадь Оноре Шампьона

В последний раз иду пройтись по рю де Сен в сторону центра – или, наоборот, от центра? Не знаю, просто иду. Ощущение, что все вокруг странно знакомо, вновь и вновь как бы дергает меня за рукав. Ощущение, что все вокруг – давным-давно. Да. Этим путем я ходила вместе с сестрой. Останавливаюсь, заглядываю в узкий переулок – рю Висконти. Увидев ее впервые, я так восхитилась, что пробежала по ней с начала до конца и подпрыгнула над мостовой. Сестра щелкнула фотоаппаратом, и на фото я вижу себя, навеки застывшую в воздухе, переполняемую радостью. Это кажется маленьким чудом – заново подключиться ко всему этому адреналину, ко всему этому своенравию.

В верхней точке площади Оноре Шампьона меня вновь осеняет: “ба, знакомое местечко”. В глубине скучноватого сквера обнаруживаю знакомый памятник Вольтеру – самое первое, что я когда-то сфотографировала в Париже. И вот что поразительно: скверик все такой же чистенький и неинтересный, как полвека назад, а вот Вольтер сильно переменился и словно подсмеивается надо мной. Черты его когда-то благодушного лица, изъеденные временем, кажутся злобно-насмешливыми, макабрическими: он, мало-помалу рассыпаясь в пыль, стоически правит своим неизменным королевством.

Вспоминаю, что видела домашний колпак Вольтера – в застекленной витрине, где-то в каком-то музее. Скромнейший головной убор – колпак телесного цвета, с кружевами. Меня изводило пламенное желание его заполучить – такая у меня была странная навязчивая идея, долго не отпускала, сопровождалась суеверным предположением, будто тот, кто наденет колпак, прикоснется к следам снов

Вольтера. Разумеется, все эти сновидения – на французском языке, все они – из его эпохи, и тогда меня осенило, что людям во все времена снились их современники. Древним грекам – их божества. Эмили Бронте – торфяные болота. А Христу? Он, возможно, не видел снов, но знал все, что только может присниться, – все сочетания элементов, до конца времен.

Мои обязательства перед “Галлимаром” выполнены, сажусь на “Евростар” до Лондона. В поезде переделываю некоторые куски рассказа, который взялась писать в тихом парке в Сете и продолжала в стремительном парижском поезде. Поначалу я недоумевала, что же побудило меня написать такую неясную, горестную повесть. Мне совершенно не хотелось анатомировать свою работу, орудуя хирургическим скальпелем, но когда я перечитала текст, то поразилась, сколько мимолетных мыслей и происшествий его вдохновило, сколько всего он впитал. Я отчетливо, как будто подчеркнутые фломастером, видела даже самые пустяковые подробности, которые вобрал в себя рассказ. Например, круглый пруд – эхо, напоминающее об идеальной порции яичницы. Рисуя свою юную героиню Евгению, я позаимствовала определенные черты с портрета Симоны: интеллектуальную гибкость, странную походку и простодушную надменность. Но другие черты заменила на их противоположности. Симона содрогалась, когда к ней прикасался другой человек, а Евгения неприкрыто жаждала прикосновений.

На международном вокзале Сент-Панкрас я пересела на поезд до Эшфорда: последний отрезок пути в поисках могилы Симоны Вейль. Мы ехали мимо домов, стоящих сплошными рядами, мимо безжизненного ландшафта. Я обратила внимание на дату на своем билете – 15 июня, день рождения моего покойного брата Тодда. Его единственного ребенка, дочь, зовут Симона. Я сразу приободрилась. Сегодня может произойти только что-то хорошее.

Приехала, отыскала прилавок с кофе, потом стала искать такси. Небо становилось все темнее, в воздухе чувствовался резкий холод. Я достала из чемодана фотоаппарат и вязаную шапку. Поездка на такси заняла минут пятнадцать, высадили меня у ворот кладбища Байбрук. Я почти ждала, что там будет каменный домик наподобие каретного сарая или кто-то, кто выдавал бы посетителям карты, но там не было ни души. Только садовник косил сорняки за завесой моросящего, но неослабевающего дождя.

Кладбище оказалось обширнее, чем я ожидала, – а я ведь понятия не имела, где лежит Симона. Я ходила по дорожкам туда-сюда, несколько обескураженная. Было как-то сумрачно. Солнце в зените – а больше похоже на закат. Я сделала несколько снимков. Крест, врезанный в могильную плиту. Надгробие, покрытое плющом, как коркой. Прошел почти час. Дождь не прекращался. Я уже была готова сдаться, сочтя задачу непосильной, но вдруг вспомнила, что Симона похоронена в католической части. Нашла место с множеством изображений Марии и крестами на каждом шагу, но Симоны было не видать. Внимательно осмотрела часть, где теснились статуи. Небо почернело. Я в легком унынии присела на скамейку. Одобрила бы Симона это паломничество? Мне кажется, что нет. Но у меня была с собой лаванда из Сета, завернутая в старый носовой платок, – было что оставить Симоне, частичку Франции, и, припомнив ее любовь к родине, ее томительную мечту вернуться, я решила не сдаваться.

Посмотрела вверх, на грозные облака.

Взмолилась, обращаясь к брату.

– Тодд, ты не мог бы мне помочь? В твой день рождения я одна и ищу женщину по имени Симона.

Я почувствовала, что его рука меня направляет. Справа от меня росли деревья, и я почувствовала, что меня к ним неодолимо тянет. И вдруг замерла. Почувствовала запах земли. Там были жаворонки и воробьи, и тонкий столб света, который появился, а потом пропал. Не делая никаких благоговейных пауз, я повернула голову и нашла ее, во всем ее скромном изяществе. Раздвинула меха фотоаппарата, навела объектив на резкость, сделала несколько снимков. Когда я опустилась на колени, чтобы положить на надгробие, чуть ниже имени, сверток с лавандой, сгустились слова, срываясь с языка, как детская песенка. Меня обуяла умиротворенность, перед которой я была беспомощна. Дождь испарился. К моим туфлям прилипла грязь. Света там не хватало – света, но не любви.

4

У судьбы есть рука, но сама судьба – не рука. Я искала что-то одно, а нашла другое – трейлер фильма. Разбуженные мелодичным, пусть и чужестранным голосом, полились слова. Я отправилась в путь – туда, куда поманил

музыкальный автомат с огоньками, наколдовавший симфонию реперных точек. Блуждая по абстрактным улицам Патрика Модиано, обошла из конца в конец мир, который даже не был моим. Прочитала книгу, познакомившую меня с мистическим активизмом Симоны Вейль. Наблюдала за фигуристкой, совершенно околдованная.

Вещь под названием “Преданность” я начала писать в поезде, по дороге из Парижа в Сет. Вначале подумывала сочинить жаркий диалог между совершенно непохожими голосами – искушенным в жизни мужчиной, мыслящим рационально, и развитой не по годам девочкой, полагающейся на интуицию. Мне было интересно посмотреть, куда они заведут друг друга, заключив альянс в мире помпезности и незаметности. Параллельно я вела малоупорядоченный путевой дневник: обрывки стихов, заметки и наблюдения, записанные без конкретной цели, – чисто из желания что-нибудь написать. Оглядываюсь на эти фрагменты, и меня осеняет: если “Преданность” – преступление, я невольно предоставила его улики, делая по ходу заметки.

Та алхимия, результатом которой становятся стихи или проза, чаще всего скрыта в самом произведении, если не гнездится в туго закрученных извилинах сознания. Но в этом случае я могла проследить истоки огромного множества манящих впечатлений: еловый лес, стрижка Симоны Вейль, белые шнурки для ботинок, мешочек с винтами, экзистенциальное ружье Камю.

Я могу анализировать, как написала то, что написала, – “как”, но не “почему”, но не “отчего” так беззастенчиво отклонилась от первоначально намеченного пути. Может ли человек, выследив преступника и схватив его за шкирку, доподлинно проникнуть в образ мысли преступника? Можем ли мы доподлинно отделить “как” от “почему”? Несколько минут я въедливо сама себя допрашивала – и поневоле признала, что, когда рассказ был закончен, испытала странные угрызения совести. Задумалась: возможно, если уж я родила своих персонажей, то теперь их оплакиваю? И еще кое о чем задумалась: может, это у меня возрастное? Ведь в молодости я с самозабвенным безрассудством писала на любую тему, ни капли не переживая, этично это или не очень. Я разрешила “Преданности” остаться такой, как она написана. Ты это написала, сказала я себе, и не можешь теперь оттолкнуть свое творение, не можешь умыть руки, как Пилат. Рассудила, что это вопросы философские или даже психологические. Возможно, “Преданность” – просто то, что она есть, никакими мировоззрениями не скована. Или, пожалуй, она – метафора, почерпнутая из неуловимого воздуха. Вот мой окончательный вывод – и он абсолютно ничего не значит.

Вернувшись в Нью-Йорк, я обнаружила, что мне трудно перестроить химический состав своего организма. Более того, накатывали приступы ностальгии, меня влекло туда, где я побывала недавно. Пить утренний кофе в кафе “Флор”, проводить день в саду “Галлимара”, ощущать прилив вдохновения в движущемся поезде. Жила я по парижскому времени: под вечер забывалась сном, посреди долгой тихой ночи резко просыпалась. В одну из таких ночей посмотрела “Таинственный сад”. Мальчик-калека заново научился ходить благодаря пламенной воле энергичной девочки. Были же времена, когда я воображала, что стану писать такие истории. Вроде “Сары Кру” или “Маленького хромого принца”. Про осиротевших детей, идущих сквозь мрак, превозмогая его своей яркостью. Совершенно не такие истории, какую я неожиданно для себя написала, не переводя дух, без малейших угрызений совести, в парижском поезде.

Безмолвие. Проезжают машины. Рокот метро. Птицы зовут зарю. “Хочу домой”, всхлипнула я. Но я уже была дома.

Кладбище Байбрук, Эшфорд, графство Кент

Эшфорд

Глубоко в земле твои маленькие кости

твои маленькие руки твои маленькие ножки

в беспокойном упокоении расстегивая застежки

просят хлеба и картофельной похлебки

взрыв света ударился в клапан

из бока агнца полилось молоко

и страшный туман повалил из-под ног

ты была вся белоснежка

а я седьмой гном

готовый тебе служить

там были облатки хватит всем живым существам,

всем, кто подставит язык,

больше не было криков

не было постящегося сердца

Только мощи чахотки,

завернутые в шелк существования

Преданность

1

Впервые он заметил ее на улице. Она была маленького роста, с фарфоровой кожей, густыми темными волосами и беспощадно остриженной челкой. Ее плащ казался слишком легким для зимнего времени, подол форменного платья – подшит криво. Когда она, задев его рукавом, прошла мимо, он почувствовал, как жалит ее интеллект. Симона Вейль в миниатюре – вот что он подумал, как потом вспоминал.

Спустя несколько дней он увидел ее снова: она оторвалась от стайки других спешивших на уроки школьниц. Он остановился, оглянулся, гадая, что гонит ее в противоположном направлении. Может быть, ей нездоровится, и она вышла из строя, чтобы вернуться домой, но вряд ли – вид у нее целеустремленный. Скорее всего, запретное свидание, какой-то нетерпеливый юнец. Она села в трамвай. Он, сам не зная отчего, последовал за ней.

Она, думая только о своей траектории, даже не заметила его, когда сошла на своей остановке. Он держался в нескольких шагах позади, она же зашагала к опушке леса. Привела его по каменистой тропе, сама о том не ведая, в густую рощу, где таился большой пруд – идеально круглый, полностью скованный льдом. Между полосками света, проникавшими там и сям сквозь сень сосен, он увидел, что она стряхнула снег с невысокого плоского валуна и уселась, глядя в сторону сверкающего пруда. Облака над ее головой тронулись с места, заслонив солнце, а потом снова освободив путь его лучам, и вся сцена на миг показалась сюрреалистичной, этакой фотографией с эффектом соляризации. Внезапно девушка обернулась в его сторону, но его так и не заметила. Достала из ранца старые коньки, затолкала в мыски ботинок скомканную бумагу и прилежно протерла лезвия коньков.

Поверхность льда казалась лоскутной, коньки были девушке великоваты. Пожалуй, необходимость приноравливаться к этим трудностям внесла свой вклад в ее рискованный стиль катания. Сделав несколько кругов, она разогналась и, начав с, казалось бы, крайне неустойчивой позиции, без усилия взлетела, рассекая жидкий воздух. Ее прыжки отличались поразительной высотой; приземления были смещенные, но скрупулезно четкие. Он смотрел, как она выполняет комбинацию прыжков, наклоняясь и вертясь безумным волчком. Ему никогда еще не доводилось видеть такого пронзительного сочетания атлетичности с артистизмом.

В воздухе висела холодная сырость. Небо приобрело более насыщенный цвет, передало пруду свою синеву. Девушка широко распахнула глаза, созерцая далекие, расплывающиеся в глазах сосны, небо цвета кровоподтеков. Для этих деревьев, для этого неба – вот для кого она катается. Ему следовало бы отвернуться, но он знал себя и распознал знакомый внутренний трепет при встрече с чем-то изысканным: все равно как обнаружить завернутый в многовековую ветошь сосуд, который он раскутает, уверенно присвоит себе, поднесет к губам. Ушел он еще до того, как повалил снег, ушел, напоследок скользнув взглядом по ее вскинутой руке, а она, склонив голову, продолжала

кружиться.

Ветер усилился, и она неохотно ушла с пруда. Развязывая шнурки, удовлетворенно подвела итог событиям дня. Встала она рано, помолилась в школьной часовне и, поскольку федеральные экзамены она уже сдала, забрала из шкафчика ранец и ушла без колебаний, без угрызений совести. Она, отличница, намного опережавшая сверстников, относилась к учебе совершенно равнодушно. В двенадцать лет освоила латынь, сложные уравнения решала играючи, без труда справлялась с тем, чтобы разлагать на части и рассматривать под новым углом сложнейшие понятия. Ее ум был мускулом несогласия. Она вовсе не собиралась доучиваться – ни сейчас, ни когда-нибудь; подвела черту под образованием, ей ведь скоро исполнится шестнадцать. Ей владело одно желание – изумлять, все прочее меркло, когда она выходила на лед, отчетливо осязая его поверхность лезвиями коньков – это ощущение поднималось от ступней к лодыжкам.

Утро туманное, но скоро распогодится: для катания – лучше не бывает. Она сварила кофе, поджарила на сковородке хлеб, окликнула тетю Ирину, позабыв, что теперь предоставлена сама себе. По дороге к пруду заметила: хоть и холодно, на колючих кустах остались ягоды, но собирать их не стала. Завитки тумана всплывали, казалось, из-под земли. Падал серебристый свет, и пруд казался отполированным, как будто на него наводили лоск старательные руки. Она перекрестилась и вышла на лед, упиваясь уединением. Но здесь она была не одна.

Неуемное любопытство и уверенность, что он обязательно найдет ее на том же месте, заставили его вернуться. Он наблюдал, незамеченный, как она выполняет уникальные и замысловатые комбинации элементов, рискованно и поэтично раскованные. Ее экстаз возбудил его; Господь вдохнул жизнь в произведение искусства. Она гнулась в дугу, кружась то по нисходящей, то по восходящей спирали, рассыпая вокруг сверкающую пыль – звездную, ведь перед ним, несомненно, будущая звезда. Он постоял и ушел – скоро, но недостаточно скоро.

Она не могла бы точно указать момент, когда заметила его присутствие. Поначалу было лишь какое-то неуловимое ощущение, а потом, однажды утром, она украдкой разглядела очертания его фигуры, цвет его пальто и шарфа – он не вполне сливался с местностью. Интуитивно чувствуя, что он не желает ей дурного, она продолжала кататься, и его присутствие подпитывало ее энергией.

С одиннадцати лет никто, даже родная тетка, не видел, как она катается на коньках. Шли дни, и оба, осторожно налаживая контакт, свыкались со своими ролями, приободряя друг друга.

После того как она сбросила ярмо школьного расписания, после того как уехала Ирина, ее дни плавно перетекали один в другой. Ее чувство времени ослабло, и жила она, сообразуясь с тем, светлее или темнее становится снаружи. Сегодня проспала дольше обычного: уже рассветало. Наспех разделавшись с утренними бытовыми ритуалами, схватила коньки и отправилась в рощу. Подходя к пруду, заметила край большой белой коробки, стоявшей между оголенных корней старого платана. Поняла: это, верно, для нее – от Него. Уронив на землю коньки, убрала несколько тяжелых камней, которыми была придавлена крышка, неспешно открыла коробку. Под несколькими слоями бледной папиросной бумаги лежало розовато-лиловое пальто – дорогое, но несколько старомодное, замысловато скроенное, подбитое шелковистым мехом. Пальто подошло ей идеально: нижнюю часть – этакую юбку фасона “принцесса” – можно было отстегнуть, без нее удобнее тренироваться. Дрожащими руками ощупала пальто, всматриваясь в каждую деталь, дивясь искусным швам, невесомой меховой подкладке и странному цвету, который, казалось, менялся вместе с освещением. Надела пальто, поразилась: на вид легкое, но просто чудо какое теплое. Робко покосилась туда, где обычно стоял Он – пусть видит, как она довольна, – но Его нигде было не видать. Ликующе кружась, почувствовала, какая это меланхоличная роскошь – радоваться в одиночестве.

Нежданный подарок заронил слабую надежду: пока смутный, но так много обещающий контакт с другим человеком. Ее охватил восторг, но одновременно – страх перед этим восторгом, потому что ей мимолетно показалось, что этот восторг затмил нетерпение, влекущее ее на лед. Она сказала себе, что живет только ради фигурного катания – для всего остального просто нет места. Ни для любви, ни для школы, ни для попыток снести стены памяти. Пока она пыталась разобраться во всем этом букете противоречивых чувств, шнурок ботинка порвался прямо в ее руке. Она торопливо связала обрывки, отстегнула от нового пальто юбку и вышла на лед.

– Я – Евгения, – сказала она, ни к кому конкретно не обращаясь.

Холодный дождь начертил полосы на окнах коттеджа, а потом подмерз в виде диковинных узоров. Сегодня утром катание отменяется. Евгения села за кухонный стол и раскрыла свой дневник. На первых страницах – вариации одного и того же набора строк, своего рода стихотворение – рыхлая гирлянда ее “Сибирских цветов”, – написанное на эстонском, языке ее отца и матери, который она освоила самоучкой. Она перелистнула дневник на последние страницы, где в основном упражнялась в английском языке, что-то записывая. Мысли о фигурном катании, об Ирине – ее тетке и бывшей опекунше, о родителях, которых Евгения не помнила. Хотела было написать еще что-нибудь, но слова не шли на ум, и тогда она перечитала и исправила то, что написала раньше.

Я родилась в Эстонии. Мой отец был профессор. У моих родителей был красивый дом с участком земли и красивым садом, который моя мать возделывала с самозабвенной преданностью. Младшая сестра моей матери Ирина жила в нашем доме. Она собиралась уехать за границу с джентльменом по имени Мартин Бурхарт. Он был старше Ирины в два раза и очень богатый.

У моего отца было предчувствие неминуемой опасности. У моей матери не было такого предчувствия, она видела в людях только хорошее. Мой отец уговорил Мартина, чтобы он и Ирина взяли меня с собой. Ирина говорила, что моя мать держала меня на руках и плакала три дня и три ночи. Мне было утешительно представлять, как я вся залита слезами матери. Той весной моих родителей разлучили и выслали из их эстонской деревни. Мою мать отправили в сибирский трудовой лагерь, но о том, что сталось с моим отцом, ничего не известно. У меня нет воспоминаний обо всем этом. Я знаю только то, что мне рассказала Ирина. Но ни имен моих родителей, ни названия нашей деревни – Мартин считал, что это слишком опасно. Тогда все боялись, даже когда война закончилась, но я была совсем дитя и ничего не страшилась.

Ирина была красивая, как кинозвезда, как Джин Тирни, которую я видела в ее журналах про кино. У нее такой же прикус, и волосы она завивала точно так же. Мартин позаботился, чтобы у нас были документы, продовольственные карточки, и дал мне свою фамилию. Он обо всем заботился. Он был околдован красотой Ирины так, как кто-то может быть околдован вещью в музее за стеклянной стеной. Она могла быть немного надменной, но его это, казалось, забавляло, и он покупал ей много подарков.

Мартин очень интересовался мной, когда я росла. Он купил мне куклу и красивые платья. Меня водили на уроки балета и к репетитору, который заверял его, что у меня выдающиеся успехи в учебе. В день, когда мне исполнилось пять лет, он повел нас на представление на льду. Это я помню лучше всего.

После того как я увидела фигуристов, я плакала три дня и три ночи. Я плакала так, как плакала моя мать. Возможно, я осознала свое предназначение, но была слишком мала, чтобы в полной мере понимать, что это значит. Мартин, не выдержав слез, вскоре купил мне коньки и белую муфту, и такую же шапочку. Когда я впервые ступила на лед, то споткнулась, не от страха, а от восторга, потому что произошло нечто чудесное. Мне за долю секунды открылось все, что мне нужно от жизни – как если бы вдруг узнаешь все ответы на трудную контрольную или верный способ достичь невероятного.

Все это я увидела перед собой в одно мгновение, которое миновало мгновенно, но оставило свой отпечаток. Я интуитивно поняла, что, когда я буду готова, ключ уже у меня в руках. Я делала такие успехи, что скоро к балету добавились уроки фигурного катания, а спустя недолгое время я мало-помалу забросила балет. Я получила от него то, что мне было нужно. Я просто пришла к синтезу балета и фигурного катания. После этого у меня со всем выходило то же самое. Мартин научил меня играть в шахматы. Я была достойным противником, но мне было неинтересно выигрывать. В основном меня интересовали шахматные ходы, интересовало, как мне включить их в свою программу. Я никогда об этом не говорила – боялась, что он велит мне не думать так много о фигурном катании. Мартин говорил, что у меня талант к наукам, но этот талант не дал мне никаких средств для выражения невыразимого. Мы с ним разговаривали на множестве языков, даже на мертвых. Но из всех языков, которые я знаю, фигурное катание – тот, который я знаю лучше всего. Язык без слов, где сознание должно склониться перед инстинктом.

А потом все изменилось. Мартин внезапно умер от разрыва сердца. Нам не разрешили прийти на похороны. Его поверенный прислал Ирине чек и ключи от дома на маленьком участке земли, примыкающем к лесу. Нам пришлось покинуть квартиру, которую он нам предоставил. На деньги, которые он оставил Ирине, мы жили в достатке, но никогда уже не было так хорошо, как в те времена. Только когда я нашла тайный пруд, я поняла, почему он выбрал этот дом. Мне было почти одиннадцать. Должно быть, он знал, что я найду пруд. Но там не было ничего, что радовало бы Ирину, пока она не познакомилась с Франком. До этого она ходила как привидение, и так день за днем.

Ирина уехала почти два месяца назад. Я знаю, ее бы рассердило, что я бросила школу. Но в школе всем все равно. Учителям всегда было не по себе от моих противоречивых мыслей и вопросов, а я считаю, что они больше ничему не могут меня научить. Я понимаю, почему Ирина уехала; мы никогда не были нежно привязаны друг к другу. Я была обязанностью, которую ей пришлось на себя взвалить. Но меня несколько настораживает мое поведение, когда она со мной прощалась. Мое сердце оставалось холодно. Я не сказала ни слова. Возможно, от страха, ведь она – единственное, что связывает меня с моими родными.

Евгения на миг перестала читать, а потом приписала рядом несколько слов: “Она мне родная”. Отложив карандаш, осознала, что искренне раскаивается в том, что не помогла Ирине как-то сгладить мучительность расставания. Возможно, подарок от незнакомца каким-то образом обезоружил Евгению: его щедрость, на которую она не напрашивалась, заставила ее осознать чрезмерную холодность своего юного сердца. Оглянувшись на окно, она заметила, что дождь перешел в слабый снег. Закрыв дневник, надела пальто, закинула коньки на плечо, пошла через лес к пруду. Каталась до заката. Потом присела на плоский валун, неспешно расшнуровала ботинки и проверила лезвия. Возвращаться домой затемно она не боялась: по этой тропе она прошла уже тысячу раз и знала каждый камешек под ногами.

Взошла луна, осветив пруд. Это было скорее миниатюрное озеро, чем пруд, на удивление глубокое – ее тайная отдушина от гнетущей атмосферы в маленьком коттедже на отшибе, который всегда казался Ирине темницей. Так было, пока Ирина не познакомилась с Франком, красавцем под стать ее красоте, с человеком, который наконец-то сделал ее счастливой, с тем, кто забрал ее отсюда.

В день отъезда Ирина была ненакрашенная и плакала. Евгении пришло в голову, что она выглядит совсем молодо, а еще – как же она похожа на актрису, которая разыгрывает много раз отрепетированную сцену.

– Я должна уехать. Меня ждет Франк. Он дал мне для тебя денег – лежат вон там, на комоде. Тебе скоро будет шестнадцать. У тебя все наладится, совсем как у меня.

Евгения стояла молча. Ей хотелось потянуться к Ирине, поблагодарить за все, чем та пожертвовала, но подобрать подходящие слова никак не получалось. В голове – только вихрь вопросов, которые навеки останутся без ответа.

– Не надо меня ненавидеть, я сделала все, что могла. Мне уже тридцать два; это мой шанс пожить и для себя немножко.

Потянувшись к дверной ручке, она остановилась, глянула на Евгению с отчаянием.

– Я родилась красивой, – выпалила Ирина, – так почему жизнь у меня должна быть уродская?

И ушла: была – и нет. Совсем как отец и мать, совсем как Мартин, совсем как белье на веревке.

Появились звезды – казалось, их вытрясли из сети. Евгения сидела под звездами, продолжала размышлять. У каждой звезды своя роль, у каждой – свое место. Все, что во мне есть, думала Евгения, дано мне природой.

3

Тогда ему было под сорок; одиночка по натуре, он отличался необычайным самообладанием, выносливостью и мужской силой, но в то же время – беспрецедентной восприимчивостью, успел попробовать себя во всем спектре наук, рисков, искусств и излишеств. Торговал антиквариатом, редкими рукописями и оружием и мог запросто – на ощупь, по тому, как она впитывает или отражает свет – определить, когда и где была изготовлена какая-нибудь непонятная вещица из слоновой кости. Все ценное поставлял в музеи, все изысканное оставлял себе. Ездил по разным странам, но отнюдь не от безделья. В его сундуках хранилось богатейшее собрание вещей, выручка от продажи которых сильно приумножила бы его капиталы. Он преуспел в жизни, но восторг приобретательства давно выдохся; он ловил себя на том, что, вопреки своему обыкновению, не может усидеть на месте и раздражается по пустякам.

Она носилась перед его взором на коньках – неотступно мерещилась, пока он не забывался сном. Он явственно воображал, как она эгоцентрично кружится в

своем ледяном дворце. Ему представлялось, как в дальних странах он замечает ее в толпе: густые темные волосы, ни шапки, ни шарфа, через хрупкое плечо перекинуты поношенные коньки. Маленькая ведьма, думал он, но сам себя одергивал: как можно приписывать нескладной школьнице такую власть?

В одном из снов он сидел за столом, оглядывая обширные угодья незнакомой ему усадьбы где-то в колониях. Ее призрак, хрупкий, как шпиль из сахарной ваты, материализовался на ярко-зеленом поле. Она медленно вертелась, одетая в невесомое, как дым, подчеркивающее ее худощавость красное платье. Он с удовольствием ее разглядывал, а она вертелась все быстрее, и ее феноменально гибкие руки легко изгибались на слабом ветру.

– Она никогда не станет полностью вашей, – шепнула женщина, которая прислуживала ему за столом.

Он сурово на нее вытаращился.

– Вы что-то сказали? – спросил довольно раздраженно.

– Нет, мсье, – невозмутимо ответила она.

Проснулся он с необъяснимым ощущением – казалось, что его взяли в кольцо, – а еще со смутной яростью. Накинул халат и уселся в гостиной: закурил сигару, затерялся, забылся в голубых завитках дыма.

Миновало несколько дней, а он все не приходил. Если честно, ей недоставало его присутствия: оно, похоже, необъяснимым образом вдохновляло. А теперь она снова катается только для себя. Пока еще было очень холодно, но в новом пальто и при благоприятной – когда не было ветра – погоде она могла кататься подолгу. Пруд был для нее все равно что родина, фигурное катание – все равно что любовник. Она отдавалась беззаветно, сама для себя вырабатывала тепло.

Каждый год она с тяжелым сердцем ждала наступления весны: скоро лед под ногами избороздят жилки и поверхность пруда треснет, словно карманное зеркальце, оброненное на мраморный пол. Еще немножечко, умоляла она природу, еще неделю, несколько деньков, еще несколько часов. Опустилась на

колени на льду. Пока опасности нет, но скоро…

Его она не увидела, но почувствовала: почуяла приближение, а потом вдруг разглядела в кустах его пальто. Он оставался на виду, но сохранял дистанцию, вполне удовлетворяясь безмолвным общением между ними. Она притворилась, будто не заметила его возвращения, но приняла его без упреков. Скрестив руки над сердцем, оттолкнулась, взлетев на еще невиданную высоту. Расхрабрившись от его присутствия, начала выполнять третье вращение, вскинув одну руку вверх, охватывая кончиками пальцев всю ширь небосвода. Невольно вскрикнула: “Ах, если б в этот момент умереть”. Просто блажь, молитва подростка, момент, хозяйкой которого она непринужденно стала.

Он удалился, пронзенный в самое сердце.

На рассвете она выпила холодного кофе, позавтракала миской ягод и хлебом, который испекла вчера вечером. Солнце уже пригревало, навевая беспокойство – она-то надеялась, что зима продлится еще немножко. Дойдя до пруда, она увидела: он уже здесь, дожидается. Положила коньки на землю и подошла к нему бестрепетно, положившись на свою прирожденную надменность. Он учтиво поздоровался на швейцарском диалекте немецкого, но Евгения, подметив его акцент, ответила по-русски. Он опешил, но и обрадовался.

Спросил:

– Вы русская?

– Я родилась в Эстонии.

– Далеко же вы заехали.

– Сюда меня привезла во время войны тетя, когда я была совсем маленькая. Моя родина – этот пруд.

– Сколько языков вы знаете?

– Немало, – ответила она самодовольно. – Больше, чем у вас пальцев на руках.

– По-русски вы говорите прекрасно.

– Языки похожи на шахматы.

– А слова – на шахматные ходы?

Они постояли в молчании, которое ни в малейшей мере не было неловким. Она подумала, что их связывает только опыт совместного молчания и ее пальто.

– Пальто… – начала она.

Но он только отмахнулся:

– Пальто – ерунда, малышка. Я могу дать вам все, что вы только можете вообразить.

– Такими вещами я не дорожу. Я хочу только одного – кататься.

– Лед вас скоро подведет.

Она опустила глаза.

– У меня есть приятельница, известный тренер из Вены. Вы могли бы кататься, сколько вашей душе угодно, всю весну, все лето, пока ваш пруд не будет готов вас принять.

– И какова плата за эту привилегию?

Он уставился на нее, не чинясь.

– Я хочу только одного – кататься, – повторила она.

Он протянул ей визитную карточку. Она стояла и смотрела, как он уходит в своем темном пальто; дюжим сложением он не отличался, но пальто создавало впечатление силы.

Она дождалась, пока он скроется из виду на тропе, потом опустилась на колени и стукнула по льду камнем. Почувствовала колебания воды, струящейся под ледяной коркой: лед подтаивает, слой за слоем. Недовольно покосилась на солнце, изливавшее в атмосферу тепло своих лучей. Ужасно красиво, но предвещает нескончаемые месяцы без того, что приносит ей величайшее счастье. Ее самоощущение было неразрывно переплетено со шнурками коньков. Зима растает, уступая место весне и лету, и ничего не поделаешь – останется лишь ждать, пока листопад не возвестит о скором возвращении зимы. Она нащупала в кармане визитку. Ее будоражил целый хор переживаний: она одновременно вырвалась на волю и попалась в капкан.

4

Был первый день весны. Свет хлынул в ее окно, расплескался по ее одеялу. На стене над кроватью висели фотографии Евы Павлик. Коньки на крючке манили, но лед уже начал таять. Она сварила какао, потом развернула маленькое одеяльце, которое хранила в корзинке в углу комнаты. Однажды утром, в день, когда ей исполнилось тринадцать, Ирина вручила ей это одеяло – берегла его много лет в ожидании подходящего момента. Одеяло сшила для Евгении мать, а к нему было приколото булавкой письмо, написанное отцом. Тогда она не смогла прочесть письмо, но выучила язык, перевела письмо и перечитывала снова и снова. Он писал, как подбрасывал ее в воздух и восхищался тем, что она унаследовала глаза его мамы, темно-карие, в которых содержится, кажется, все на свете. Одеяло было как мягкий персик, с крошечными цветочками, вышитыми по краям.

Спасибо, мама, прошептала она, спасибо, папа.

Штопая старую вязаную кофту Ирины, Евгения нашла ее длинный волос и задумалась: вернется ли Ирина когда-нибудь? Тетка вырастила ее, тетка таила в своей голове все, что только можно знать об их прошлом. Из Ирины всегда нелегко было выжать хоть слово; правда, иногда, выпив лишнюю стопку водки, она рассказывала о песне волков, об обледеневших деревьях или об аромате розовых с белым цветов, заполонявших все вокруг по весне. Но о ее матери и отце – ни слова. Евгения часто искала ответ в холодных глазах Ирины.

– Не ищи во мне свою маму, – говорила та. – Ты должна найти ее в себе.

– Я на нее похожа?

– Ой, честно, даже не знаю, – отвечала Ирина нетерпеливо, подкрашивая губы.

– Но волосы у меня – как у нее?

– Да, да.

– А глаза у меня – как у отца?

– Не оглядывайся назад, Евгения, – советовала Ирина, набрасывая палантин из лисьего меха. – У нас все впереди.

Теперь я одеваюсь лучше нее, подумала Евгения печально, подразумевая свое пальто.

Но Евгения охотно променяла бы новое пальто на один-единственный фрагмент головоломки. У нее не было ничего, кроме сна, повторявшегося снова и снова, похожего на оживший зернистый кадр старого фильма: ее мать прикрывает глаза ладонью от солнца, на веревке реют простыни. За это воспоминание она цеплялась, словно за подлинное, хотя никак не могла такого помнить – слишком рано разлучилась с родителями. Сшивала воедино все мимолетные упоминания, всплывшие в памяти банальные детали, новые грани старых историй, вымаливая у Ирины какой-нибудь новый клочок для хрупкого лоскутного одеяла своего “я”. Она никогда не просила о любви, не мечтала о ласке, не имела опыта отношений с мальчиками: в ее жизни не было даже отроческих поцелуев. Ей хотелось лишь дознаться, кто она, и кататься на коньках. Вот и все, чего желала ее душа.

Евгения достала из кармана пальто его визитку. Он предложил ей все. Личного тренера, лучшие коньки, место для тренировок в свое удовольствие. Она положила визитку на стол, провела пальцем по его имени – “Александр Рифа”, тисненая печать, жирный шрифт, внизу, от руки, написан адрес. Его зовут Александр, но для нее он всегда будет просто “Он”.

В тот день он открыл дверь и увидел на пороге ее, маленькую и непокорную.

– Сегодня у меня день рождения, – сказала она. – Мне шестнадцать.

Он радушно ввел ее в анфиладу комнат, показал свои земные сокровища: бесценные иконы, распятия из слоновой кости, тяжелые нити жемчуга, сундуки, ломящиеся от расшитых шелков и редкостных рукописей. Предлагал ей все, что ее душе угодно.

– Ваше богатство меня не интересует.

– Может, что-то чисто символическое – вам на день рождения.

– Я хочу только одного – кататься. Вот ради чего я здесь.

Он замешкался перед стеклянным ящиком, где хранилось эмалевое пасхальное яйцо замысловатой работы. Вопреки своей воле она почувствовала, что ее тянет к этой вещице, и он отпер ящик и поставил яйцо перед ней.

– Загляните внутрь, – сказал он. – Это был подарок царя императрице.

Внутри была крохотная императорская карета, искусно выкованная из золота. Он поставил карету ей на ладонь, уставился: как она среагирует?

– Угадайте мое имя, – сказала она.

– Имен на свете много.

– Но я ношу имя королевы.

– Королев на свете много.

Она пошла за ним в спальню. Пока он неспешно раздевал ее, она стояла молча, но он почувствовал, что ее сердце забилось быстрее. Он овладел ей неспешно, на удивление нежно, начал утешать, когда она вскрикнула от боли. Ночью он овладел ей снова, разбудив в ней не находившую себе выражения, неожиданную жажду наслаждения.

Утром он снял с кровати простыню, на которой расползлось пятно – кровавая бабочка.

– Эта комната станет твоей, если пожелаешь. Поручу кому-нибудь купить тебе новые простыни.

– Нет. Простыни я куплю себе сама.

Пока она мылась, он готовил ей завтрак. Она подошла к нему, ожидая ответа.

– Я понял, что с тобой не оберешься бед, когда увидел, как ты идешь навстречу, – сказал он. – Я почувствовал тебя, когда наши рукава соприкоснулись.

– Тогда я тебя не приметила.

– Может быть, ты меня почувствовала, совсем как я тебя.

– Нет. Ничего я не почувствовала.

Юность бывает жестокой, рассудил он; впрочем, он знал, как, в свою очередь, ее уязвить. Прижался к ней, сказал, что ему пора идти, и прошептал имя, которое ей дал. Филадельфия.

– Почему “Филадельфия”?

– Потому что, – сказал он, дыша ей в ухо, – когда-то она была питомником свободы.

Она прислонилась к стене.

– Я хочу то, что лежит в маленьком мешочке, который ты носишь на шее, – вдруг сказала она, словно в отместку.

Он, огорошенный, замялся, но не смог ей отказать.

– Так, пустячки на память – всего лишь несколько винтиков и боек от старого ружья.

– Ценные, наверное.

– Это было ружье одного поэта.

– А где оно?

– В надежном месте, очень далеко. Винты я вынул, чтобы никто не мог из него стрелять. Без них оно ни к чему не пригодно – перестало быть оружием. Мешочек зашит.

– Отдай его мне.

– Это и есть то, чего ты хочешь?

– Да.

– Ты уверена?

– Да, – сказала она непреклонно.

– Тогда я обязан когда-нибудь отдать тебе и ружье.

– Как пожелаешь.

– Ты меня убиваешь, – сказал он.

– Ты меня убиваешь, – парировала она.

Он оставил крупную сумму денег, подложил под них листок бумаги. Сходи по этому адресу и купи новые простыни, вот такие, и он написал на обороте название и еще раз ее поцеловал. Магазин она нашла не сразу. Там были длинные полки со всевозможными простынями, всеми, какие только поддаются

воображению, но ее привлекла стеклянная витрина с шелковыми халатами и пижамами телесного цвета. Вместо простынь она выбрала в этой витрине простую сорочку, потратив на нее половину денег, а потом поехала на трамвае в другую часть города. Там была лавчонка, где перепродавали постельное белье из китайских прачечных. После долгих поисков она нашла почти новые простыни торговой марки, название которой он написал на листке. Итальянские простыни, слегка обтрепанные, но намного лучше всех, которые она видала прежде.

Купив простыни, она зашла в маленький ресторан и заказала себе целый стейк, большой, и огромную чашку кофе. Время от времени дотрагивалась до мешочка, висевшего на шее чуть ниже яремной ямки. Как дорого я за это заплатила, думала она не с сожалением, а с гордостью. “Вот как я стала Филадельфией, – написала она потом в дневнике. – Как город свободы. Но я была несвободна. Голод – сам себе тюремщик”.

5

Он возвращался к ней с маленькими подарками. С бледно-розовой кофтой и образком святой Екатерины, покровительницы Эстонии. Но больше всего ей понравился журнал с фотографиями фигуристок, с Соней Хени на обложке. Какое-то время она казалась странно вялой и щедро уступчивой, позволяла весенней пыльце унести ее в другую жизнь.

Проводя вместе томные ночи, они заглядывали в миры друг друга. Он рассказывал о жизни в привилегированных кругах: его отец был дипломат, мать – из известной швейцарской семьи. С ним занимались частные учителя, он блестяще овладел иностранными языками, в светском обществе вел себя безукоризненно, но его душа не знала покоя – снедало желание раздирать все на части и комбинировать по-новому, на свой особенный манер. Его утешением стал поэт Рембо, который проделывал то же самое со словами.

– Это и есть твой поэт? – спросила она, потрогав мешочек.

Александра тянуло к искусству, но, уступив требованиям отца, он поехал в Вену учиться на инженера. Там ему было неуютно, он отвернулся от отца и вступил в ряды французского Сопротивления. Постепенно осознал, что стремление раздирать все на части заложено в человеческой природе – такова одна из ее могущественных граней. Пустился в самостоятельные изыскания и прошел по

следам поэта от перевала Сен-Готард до Абиссинского нагорья.

Он читал ей отрывки из “Одного лета в аду”. Она лежала рядом, воображая, как молодой Александр бросил университет – совсем как она школу. Ее убаюкивал гипнотический гул его голоса. Он продолжал читать, потом отложил книгу, чтобы взглянуть на Евгению: маленькую и сияющую, ниже пупка – влажный след… Ему захотелось пробудить ее от дремы.

Вся природа проснулась, расцвела. Евгения рассказывала ему свои истории так, как записывала их в своей тетради по английскому, отвечая на его вопросы мелодично и монотонно – бесстрастно, как закадровый голос, озвучивающий чье-то фантомное существование.

– А у тебя какие отношения были с отцом – задушевные или не очень?

– Я никогда не знала своих отца и мать. Весной их выслали из Эстонии в сибирский трудовой лагерь.

– По какой причине?

– Чтобы гнать людей, как овец, никаких причин не надо.

– В этой истории полно белых пятен.

– Кое-что тает без остатка, не успев сделаться воспоминанием. Помню поезда. Помню новые языки – я их осваивала на лету. И как тетя Ирина сидит перед зеркалом, склонив голову набок, расчесывает волосы.

– Расскажи мне про Ирину.

– Она меня вырастила, но остается загадкой. Она мечтала уехать в Америку и стать актрисой, но война все изменила. У нее был кавалер в два с лишним раза ее старше, он решил увезти ее за границу, а отец упросил его прихватить и меня тоже. Мы пересекли несколько границ и поселились в Швейцарии под его покровительством. У него уже была семья, но он был не только очень богатый, но и очень добрый. Купил мне платья, а Ирине золотой браслет с брелоками.

– Мамина сестра была красавица; как иначе она завоевала бы сердце такого доброго человека? Он потакал ее капризам, его умиляло, что она, не мудрствуя, радуется каждому новому подарку. Когда мне было пять, он повел нас на представление на льду. Таких чудес я никогда еще не видала, но, тем не менее, рыдала без умолку. Мне хотелось быть той девочкой на середине катка. Я была совсем маленькая, но осознала: вот в чем мое предназначение. Я умела говорить на множестве языков, учила их с голоса. Учеба в школе давалась мне легко, но, пока в мою жизнь не пришло фигурное катание, не было ничего, что дало бы мне средства для выражения невыразимого. Внешний мир возрождался из руин, но мы жили как на отдельной планете, а я была слишком мала и в таких вопросах не понимала. После смерти Мартина Ирина никогда никого домой не приводила – пропадала куда-то время от времени, но всякий раз возвращалась. Вскоре после того, как мне исполнилось четырнадцать, она привела домой Франка.

– Франка? Он хороший человек?

– Ирине он хорошо подходит, не сомневаюсь: такой же красавец, как она. Франк был прорабом в строительной фирме и после войны стал хорошо зарабатывать. Он умеет развеселить Ирину. Ему приходилось часто уезжать из-за работы, но когда он приезжал, наша жизнь менялась к лучшему. Вот что случилось не так давно: когда старые коньки стали мне малы, я взяла из его кармана деньги и купила другие коньки, подержанные, чуть великоватые, но первый сорт, лезвия отличные. Ирина спросила, откуда у меня деньги, и я ответила. Я думала, Франк рассердится, но он ничуть не рассердился. Попросил дать ему посмотреть коньки. Я сказала, что они мне великоваты, но я кладу в мыски бумагу. Франк снял с ботинок лезвия и отвез в город, отдал в мастерскую наточить.

Вот он какой. С ним Ирина стала совсем не такая, как с Мартином. Снимала с него ботинки и чесала ему пятки. Возможно, она счастлива.

– Ты не завидовала Ирине?

– Завидовала? С чего вдруг? Ирина не умеет кататься на коньках.

Она ненадолго привстала, сняла с себя сорочку.

Он лежал на постели, дожидаясь. Стиснул ее бедра. Помедленнее, Филадельфия, сказал он и перевернул ее на живот, осторожно тыча ниже пояса.

Когда она вскрикнула, он перевернул ее. Она чувствовала кожей его дыхание. Чувствовала биение – как будто малюсенькое сердце – и, приподнимая бедра, вспомнила лицо мальчика, который перед конфирмацией обрызгал грязью ее платье. Увидела черные разводы и его грязные руки. Увидела белую кружевную перчатку Ирины. Снаружи звонили колокола. Она плыла в нечистотах, окончательно запутавшись.

6

Их история – из тех, которые не могут разрешиться ничем, кроме краха. История, обладающая властью, которая обычно присуща мифам. История, которая замкнулась на себе, оставив после себя только ясность в отношениях и едкое облако их постели, на котором они нещадно совокуплялись, а потом летали. Когда именно такая история перестает быть чем-то красивым, верностью сердца и дает крен, начинает выделывать курбеты, а потом срывается в пучину одержимости? Об этом он размышлял на вечерней прогулке, когда остановился, чтобы швырнуть горящую сигару на опавшие листья. Увидел, как они вспыхнули, а потом погасли – сами себя потушили своей сыростью.

Когда он уезжал по делам, она вопреки своей воле думала о нем. Нет, в сущности – не о нем, а о том, что разгорелось между ними, словно бы накрывая своим теплом священный пруд, растопляя по краям лед. Ей приснилось, что она мчится на коньках все быстрее и быстрее, и в ее маленьком, похожем на раковину, ухе звучал его шепот. Филадельфия. Она подпрыгнула, воспарив надо льдом, выполнила три вращения, попыталась выполнить четвертое. Великолепный прыжок сорвало солнце, озарив окно напротив ее изголовья, и она открыла глаза.

Села на трамвай, поехала в коттедж – забрать кое-что из своих вещей. Нашла дожидавшиеся ее два письма из школы. Федеральный балл у нее чуть ли не самый высокий в стране, а за успехи в математике ей вручат серебряную медаль. Для нее это почти ничего не значило. Пошла пройтись по лесу, хотя в воздухе висела завеса моросящего дождя. Тропинку, ведущую к пруду, развезло. И вот перед ней возник пруд: диорама в густом тумане, странно-чуждая. Дождь усилился, едва она заняла свое место на плоском валуне – на том, где сидела с одиннадцати лет. Почувствовав себя несчастной и жалкой, попрощалась со своим прудом и вернулась в коттедж. Легла спать на свою старую кровать. Ночью похолодало, топить печку было нечем. Проснулась, дрожа в лихорадке.

Поздним утром вернулась в его квартиру и легла на кровать в своей комнате: маленькой, с одним окном, но все же своей. Вспомнила, как точно так же болела в детстве. Мартин велел Ирине взять репчатый лук, разрезать несколько луковиц и варить в кастрюле, пока вода не закипит. Ирина сказала, что у нее все платье провоняет луком. Он сказал, что купит ей новое. Евгении велели наклониться над кастрюлей и дышать паром через нос. Мартин провел с ними весь вечер. Повторял этот странно-торжественный ритуал. Очистить луковицы. Разрезать. Сварить. Пропаривать. Дышать. Ей приснился ее опекун – тот, кто ни о чем не просил. Он был неизменно добр. У них всегда были еда и цветы. У нее была спальня с бледно-желтыми стенами и кукла в платье, которое в утреннем освещении словно бы меняло цвет снова и снова. Из кремового становилось светло-розовым, из светло-розового – персиковым. Ей приснился все тот же сон о матери. Солнце, простыни на веревке, и женщина – чем-то похожая на Ирину, но волосы короче и темнее – прикрывает от солнца глаза ладонью.

Вернувшись, Александр окликнул ее, но она не отозвалась. Обнаружил, что она у себя в комнате – лежит в темноте, но не спит. Озадаченно приблизился, но, дотронувшись до ее горла, вмиг догадался. Евгения вся пылала в лихорадке. Он наполнил льдом гигантскую ванну на звериных лапах, и она улеглась в ванну, дрожа. Он дал ей теплое питье и отнес на руках в свою постель. Она чувствовала прикосновения его рук, его дыхание. Чувствовала, что сама куда-то ускользает.

Потом вспоминала, что шепнула ему: “Луковицы”.

7

Александр сдержал обещание. Попросил ее показать коньки и вытащил из них шнурки. Они тебе больше ни к чему, сказал он и дал денег на новые коньки, в которых она нуждалась позарез. Ей подобрали коньки с ботинками телесного цвета, сшитыми по ее мерке, и сверхпрочными шелковыми шнурками. Просто идеальные, изготовленные специально для нее. Теперь пальцы ног утыкались не в комки бумаги, а в мыски ботинок. На оставшиеся деньги она ходила на маленький тренировочный каток и мало-помалу разнашивала обновку. Как же давно у нее не было новеньких коньков. Правда, ноги натерла – но, ничего, ради такого можно и потерпеть. Казалось, это настоящее чудо – кататься в пору, когда распускаются цветы.

Александр познакомил ее с тренером – австрийкой по имени Мария. Евгения сидела и помалкивала, пока он и Мария толковали о ней, словно о бессловесной фарфоровой фигурке. Мария написала на бумажке какой-то адрес.

– Приходи завтра, – сказала она Евгении, – посмотрю, как ты катаешься. Чем раньше, тем лучше: лед ровняют по ночам.

Это был крытый ледовый дворец с двумя катками. На следующее утро Мария поздоровалась с ней довольно холодно.

– Твой благодетель выдал мне стипендию: на эти деньги будешь тренироваться каждый день, сколько пожелаешь. Я буду наблюдать за тобой и сообщать ему свое мнение.

Евгении показалось, что ей слегка манипулируют, но воспряла духом: неограниченное время на катке! Хотя Мария, похоже, была о ней невысокого мнения, Евгения знала себе цену: уверенно зашнуровала коньки и вошла в мир, который был ее стихией. После нескольких кругов по катку – в порядке разведки, чтобы освоить новое пространство, – настороженность испарилась.

Мария была озадачена: юная фигуристка пришла, казалось, ниоткуда. Рост ниже среднего, стандартам красоты не соответствует, но эффектная, с какой-то странной грацией. В ее стиле была некая уникальная острота восприятия, даже риск; она каталась словно бы по краю бездны. Мария, хоть вначале посматривала скептически, вскоре признала бесспорный потенциал подопечной. Теперь у Марии будет своя чемпионка. А у Евгении – наставница, владеющая ее родным языком. Языком фигурного катания.

Она стала называть своего тренера “Снежана”, потому что та была бела, как снег. Плотные белые свитера до колен, белые рейтузы, еще один белый свитер повязан вокруг талии. Бледное лицо, обрамленное непокорными светлыми кудрями, еще сохраняло остатки былой юной красоты. Когда-то она покоряла зрителей голубыми льдинками глаз и стальной дисциплиной на льду. Страстью, очищенной до полного бесстрастия. Но страшная авария положила конец ее многообещающей карьере. Ей сделали несколько удачных операций, но феноменальная быстрота и мощная атлетичность так и не восстановились.

Своя чемпионка отчасти компенсировала бы ей то, что она потеряла. Применяя свою железную волю, Мария вкладывала в Евгению все, что знала, пытаясь формировать и отшлифовывать ее умения, дать ей те средства, в которых Евгения нуждалась для выполнения своего предназначения. Но Евгения тоже могла упрямиться; честолюбия ей было не занимать, но чему оно служило? Ей грезились не лавры, а еще невиданные программы.

Александр готовился к долгому путешествию. Евгения посвятила его в их препирательства.

– Мария не понимает, как я работаю. Как я импровизирую ходы на своей шахматной доске.

– Наверно, подозревает, что ты слишком много думаешь.

– Каждая мысль переплавляется в чувство. Для меня фигурное катание – чистое чувство, а не ворота к завершению работы.

– Она хочет, чтобы ты достигла успеха.

– Она хочет, чтобы я выступала, не выходя за рамки традиций, разыгрывала истории, которые выглядят надуманными.

– У тебя свои истории. Ты можешь рассказывать их в своем стиле, своими жестами. Например, про опустевшие руки матери.

– Моей матери.

Евгения примолкла, глядя, как он укладывает дорожный сундук, вытряхивая в него ящики комода.

– Тебя долго не будет?

– Еду надолго, да. Но я за тобой вернусь.

– Мария хочет отвезти меня в спортивный лагерь в Вену. Говорит, что мне надо выправить документы.

– Похоже, у Марии развит собственнический инстинкт, – сказал он.

Евгения напряглась, но ей было известно, что так и есть: за относительно короткое время Мария внедрилась в ее жизнь, сделавшись и матерью, и наставницей.

Она смотрела, как его пальцы поглаживают изящные складки на одеждах мадонны, изваянной из слоновой кости. Ее патина казалась скорее золотой, чем белой: так долго, век за веком, ее ласково касались чьи-то руки.

– Возьмешь ее с собой?

– Да, это мой дорожный талисман.

– У тебя тоже собственнический инстинкт, – сказала она.

– Наша собственность – наша боль, – ответил он.

– Как так? Твои вещи приносят тебе столько удовольствия.

– Когда я умру, ими завладеет кто-то другой. Вот отчего мне больно.

– Я не принадлежу никому, – сказала она с вызовом.

– Никому? – улыбнулся он, расстегивая на ней кофту.

Евгения чувствовала, как две силы тянут ее, каждая к себе. И обе обходились с ней властно, но Александр прикидывался равнодушным и тем самым манил. Пока он был в отъезде, Мария попыталась упрочить свое влияние. Направила все старания на то, чтобы подготовить Евгению к соревнованиям. Мария никогда еще не видела такого новаторства и дерзости в фигурном катании, но нестандартные методы Евгении требовалось приструнить. Евгения сочла это

гнетом и во имя самовыражения взбунтовалась против дисциплины.

– Мы готовимся к чемпионату. Правила есть правила. Есть целая система, которой надо покориться, а потом уже ее покорить.

– Покорять можно по-разному.

Евгения выехала на середину катка и без заминки выполнила серию немыслимых комбинаций. В тишине ледового дворца она владела собой в полной мере, сама себе наколдовывала музыку. В тот миг она была легендарной жар-птицей, восставая из пепла изящного ноктюрна, была счастьем и проклятием для тех, кто возьмет ее в плен.

Мария зачарованно уставилась на юную подопечную.

Засмеялась:

– Ты что, заключила сделку с дьяволом, связалась с нечистой силой?

Но в ее глазах Евгения прочла другую правду. В глубине души Марии было не до смеха.

Александр вернулся без предупреждения. Мария поздоровалась с ним, когда он пришел на каток; Евгения не увидела его, но почувствовала: он здесь. Он с довольным видом наблюдал, как она катается, уловил миг, когда она почуяла его приближение. Мария затаила дыхание, изумившись беспрецедентной высоте ее прыжка. От ее внимания не ускользнуло то, как он действует на Евгению.

– Она делает большие успехи, – сказала ему Мария, – но ей надо позаниматься дополнительно. Хочу отвезти ее в Вену: пусть побудет в атмосфере жаркого соперничества. Насколько я понимаю, документы у нее не в порядке, нормального паспорта – и то нет. Ну и ну: девочка знает столько языков, а, похоже, никогда никуда не выезжала.

– Это я возьму на себя, – заверил он Марию, боясь проговориться о своих планах на будущее Евгении. – Я должен свозить ее в Женеву на несколько дней, пока

посольство выпишет ей документы. Тогда она будет вольна ездить, куда ее душе угодно.

Евгения продолжала кататься, не подозревая ни о замыслах Марии, ни о замыслах Александра. У нее были собственные устремления. Аксель с кульминацией из четырех вращений – а почему бы не пяти? Стихотворением, которым было ее сознание, повелевало невозможное. Сделать то, чего никто еще не делал, пересоздать пространство, довести зрителей до слез восторга.

8

Она спала в своей комнате. Он разбудил ее, принес кофе. Сказал: скоро уезжаем, ничего с собой не бери. У меня есть все, что нам нужно.

– Мои документы? – спросила она сонно.

– Да, нам надо успеть на женевский поезд. Отходит в шесть утра.

Благодаря своим связям среди дипломатов Александр смог оформить ей паспорт. Но, вопреки его обещанию, назад они не вернулись. Хотя под властной опекой Марии характер Евгении закалился, теперь она безропотно позволила, чтобы Александр взял ее за руку и увел. Поначалу ее завораживали их странствия: все время в движении, с легкового автомобиля на поезд, с поезда – на паром. Евгения мысленно отмахивалась, когда перед глазами снова и снова вставала застывшая в ожидании Мария; любопытство и вожделение взяли верх над благоразумием и ответственностью.

Она повидала то, что другие видят только в книгах. Реку Эльба. Мост над Дунаем. Спиральный шпиль, внутри которого, как в футляре, покоится бомба. Площадь Вье-Марше, где сожгли Жанну д’Арк, безвестный зал, где после войны победоносные генералы нарезали, как пирог, огромную карту мира. Она прошла босиком по камням, которыми вымощен неровный внутренний двор замка Ле-Бо. В нише, выдолбленной в скале, Александр оставил крест из слоновой кости. Они постояли перед нишей, но не стали молиться. Путешествия утомили ее, но она помалкивала. В Марселе они положили букет цветов под низкое окно палаты в больнице Непорочного Зачатия, а затем, не переводя дух, продолжили путь.

– Куда мы едем?

– Далеко-далеко.

– Зачем нам туда ехать?

– Забрать то, что я тебе обещал.

– Я смогу там кататься? Там есть пруд?

– Нет, Филадельфия, пруды там глубокие, соленые и никогда не замерзнут.

Солнце было им в тягость. Вокруг все, казалось, омертвело. Какой ты жестокий, думала она. Но оцепенело следовала за ним, совсем как Трилби ходила по пятам за своим повелителем.

Они поднялись на борт величественного корабля. Она ощутила соленый привкус воздуха, и ее передернуло. Море было огромное, волны красиво изгибались. Евгения воображала, что они замерзли. Воображала, как все море замерзнет – тогда она могла бы всю жизнь мчаться по нему на коньках и так и не добраться до другого края. За капитанским столом, где они обедали, Евгения неотрывно смотрела на ледяного лебедя, выставленного там для красоты, и под ее взглядом он мало-помалу таял. Убаюканная качкой, спала крепко, вскинув – совсем как на катке – руку над головой. Глядя сверху вниз на ее маленькое нагое тело, Александр почувствовал угрызения совести, но быстро подавил их.

Высадившись в порту, двинулись дальше: миля за милей красная пыль, пустыни, саванны – пока не добрались до маленькой усадьбы, окруженной акациями и эвкалиптами. Какой-то юноша поздоровался с Александром на неведомом ей диалекте, а потом сказал ей по-французски: “Добро пожаловать”. Его мать безмолвно провела их в комнату, смежную с хозяйской. Комната была просторная, побеленная известью. Циновка, служившая постелью, расстелена, к стене прислонено ружье. Женщина принесла им густой бульон, лепешки из кислого теста и чашки с чем-то, пахнущим звериной кровью. Сын заколол в их честь козу, женщина подожгла кусочки ладана.

Александр вставал до зари и на несколько часов куда-то отлучался, Евгению с собой не брал. Проживал каждый день, словно совершая ритуал, по заведенному распорядку: выискивал в деревнях священные и выброшенные за ненадобностью частички древней культуры, а вечером возвращался к Евгении. Женщина и ее сын ухаживали за ней, словно за принцессой, выздоравливающей после болезни, – подавали миски с манной кашей и медом. Пытаются раскормить на убой, думала она, но ела жадно.

Она была непривычна к зною и спала больше обычного. Когда она просыпалась, женщина подавала ей какое-то горькое питье со сладкой пастой, которое ничуть не утоляло жажду, но, казалось, распаляло плотское влечение. И тогда она принималась ждать, предвкушая его возвращение, их ненасытные ночи. В темном небе, головокружительно близко, висели планеты. Казалось, на осколке стекла написано все, что есть. Ей было дано не сияние любви, а лик истерзанной птицы.

9

Стой тут, Филадельфия, сказал он. Снял с нее одежду – она и так ходила полураздетая, – легко провел пальцами по телу. Его пальцы были как перышки. Заговорил о первом человеке, вычерчивая длинный “игрек” Тигра и Евфрата. Без заминки переходил с одного языка на другой, и она апатично отвечала ему на тех же языках. Вдруг прижал ее к стене, и она с ужасом почувствовала, что неразделенная страсть может быть блаженством.

Вечером в комнату вошла женщина – принесла чашки со сладким кофе. Он и она сидели на земляном полу. Испачканные простыни были уликой их взаимного экстаза и муки. Женщина сняла грязную простыню, постелила поверх циновки свежую; при виде этого их так и подмывало осквернить белизну простыни баснословным развратом. Они были одновременно псами и богами.

– Помнишь первый день – как ты ко мне пришла?

– Мой день рождения, – сказала она, машинально стиснув мешочек.

– Дай сюда, – сказал он.

Она привстала, неохотно сняла мешочек с шеи. Маленький-маленький, на кожаном шнурке. Он осторожно распорол шов сверху; внутри лежали хлопья пепла, крохотные винты и боек от ружья поэта. Он медленно, деловито вставил боек и винты на место, зарядил ружье и прислонил к стене.

– Завтра, – сказал он, – я научу тебя стрелять.

В ту ночь он нетуго связал ей руки шнурками от ее старых коньков. Он был ласков, целовал веки ее зажмуренных глаз, а потом ее обнаженное горло. Она резко отвернулась, открыла глаза. Шнурки почти не врезались в тело, но хозяйничали в ее сновидениях – эти извивающиеся похабные твари протянулись вдоль целого поля, накрыли собой землю, обмотали тонкие стволы цветущих деревьев, вплелись в непокорные светлые волосы ее тренера Марии.

Проснулась она с ужасающе ясной головой. Закрученные шнурки легко соскользнули с запястий, и она воровато сползла с циновки, потянулась к ружью. Ее начало мутить – совсем как в день, когда она бродила по лесу с Франком, впервые в жизни застрелила кролика, а потом наблюдала, как Франк освежевал его, растянул шкурку, повесил маленькую тушку вялиться.

Евгения встала. Александр лежал на циновке нагишом. Ей подумалось: а во сне он не так уж похож на бога. Голова шла кругом: разум составлял перечень всего, что он ей дал, всего, что он отнял. Он открыл глаза и обнаружил, что она стоит над ним, целясь куда-то вниз. Сонно приподнял голову, скорее с усмешкой, чем с тревогой.

– Филадельфия, – сказал он.

Она, чуть приподняв ствол, прицелилась получше.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Согласно аннотации, в фильме описывается так называемая “Июньская депортация” эстонцев 14 июня 1941 года. Здесь и далее – прим. перев.

2

У автора опечатка. Согласно аннотации фильма, героиню зовут Эрна.

3

“Письмо клирику”, “Сверхъестественное познание”, “Укоренение” (фр.)

4

Первое издание трех фрагментарных текстов Джеймса Джойса, которые он позднее включил в “Поминки по Финнегану”. Книга вышла в 1929 году в парижском издательстве “Блэк сан”, оформил ее Константин Бранкузи.

Купить: https://tellnovel.com/ru/smit_patti/predannost-god-obez-yany

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить